

Подъем

Итак, свобода, ты сочна, как стебель,
и как поскрипывающий ремнем констебель,
ты вся до боли, как рекламный ролик,
ты жаворонок в поле алгоритмов,
иеромонах молниевидных волн,
в неравном браке облака с иглой,
в поющем трепете нервюр на взлете Ила,
и в нервном тике судорог арбы,
ты лошадь в бане, загнанная в мыле,
ты рот Абы, где выросли грибы,
ты старый страх застрехи над сараем,
доски подгнившей гангренозно-черно,
и как-то удержавшейся за край,
и все же соскользнувшей с крыши в падаль,
в стремитерельсы и в возликовальсы,
прощай сарай, и каравай, и рай,
и только ты, свобода, не прощай!
Вперед, в расплав, вперед, боксеры смысла,
в капель, в насмарку, в солнце и блисталь!
В повидло чернозема, в прель апреля,
в огромный, как подсолнух вислоухий,
весенний перевес растреп и счастья,
вперед в томуподобный итакдаль!
Во вздох из отрицательных ионов,
и в небо звездное, в ирисах и пионах,
как ситчик нежно вышитый матроной,
лети наискосок, диагональ!
Вставай, страна огромная моя,
не с той ноги, спросонья, с панталыку,
с барахты, с бухты, через пень колоду,
не вяжущи ни языка, ни лыку,
в ночной полет, не зная броду в воду,
и в хвост, и в гриву, в баню, в душу, в рай,
вставай, страна огромная, как небо,
давай, мать огородная, вставай!

Классовое чувство

Ползут крестьяне в полосатых робах,
уставшие, как бурлаки на Волге,
изнемогая под палящим солнцем,
в пустыне, полной яда и смолы,
а где-то говорят о впечатленьях,
и льют варенье на вкусопеченье,
как льдинка, тонок смысл у каламбура,
и так же терпок вкус у антрекота,
переходящий вброд бред бутерброда,
где вяло пьют шампанское в антракте,
и пепел падает в тарелку из буклета,
и барышня обижена, и кавалер угрюм,
и речь идет о высшем зле искусства
в каюте капитана в никотине по пояс,
по очки, по брови в кофе,
а может в кофеине, все равно.
Тем временем в пыли июля зуда
ползут крестьяне трезво и угрюмо,
безумно, как в просонке под гипнозом,
похожие на механизмы трюма,
на безрассудный бешеный пропеллер,
на вентилятор и на мотороллер,
ползут крестьяне пашней коммунизма,
погрязшие в грязи капитализма,
вдали сияет глянec чернослива,
похожий на крыло машины Бенца
на шинах из шиншилл и шимпанзе,
и на рессорах мышцы росомахи.
И блеет потребление как образ,
как цель, как высь, немая идиома,
как истина лучистая простая,
похожая на девушку Наташку,
невинную, как в детской песне нотка,
ничем не огорченную с рожденья,
святую и простую идиотку.
И ропщет классовый инстинкт на пашне Гоби,
согнувшись в три погибели в наклоне,
и клацает затвором преступлeта
рефлекс, простой, как будто содроганье
привязанного Сакко Иванцетти,
нашедшего бессмертье в шоколаде,
и все это летит в пустом пространстве
увязши в гравитационной тине,
как в пластилине в звездной дисциплине,
привязанное скучным тяготеньем
к ядру большой Галактики отверстой,
дробящейся ветвистым коромыслом,
и нет ни здесь, ни там ни капли смысла,
как в лошади ни капли никотина.

Скляры

Хрупкие скляры витают в пространстве,
хрупкие скляры, модели моделей.
Как хулиганство — лишь плод декаданса,
это лишь танцы на деке гитары,
ленточка трещины в стеклотаре.
Хрупкие скляры, модели моделей,
это метели в линейках отелей,
в логарифмических шансах линеек
движется лифт из стеклянной панели,
словно условность стекает со слова,
снова и снова, снова и снова
хрупкие скляры витают в пространстве.
Связь между связями... Кольца кольчуги...
Как траектория центрифуги
не уплотняется от оборотов,
скляр не разрушится от обормотов.
Это — решетка абстрактного куба...
Это — структура районного клуба...
Что-то такое... Неясно какое...
Аве Мария? Оле Лукойе?
В мире абстракций так много обструкций!
В мире обструкций так много инструкций!..
Жесткие скляры, жестокие скляры
едко шпионят в просторах пространства
между районами точечных точек,
между проектами тачечных тачек,
между кавычек, в которых кавычки,
в которых кавычки, в которых кавычки...
В виде треножника, в виде Фемиды,
в виде тетраэдра и пирамиды,
в виде девиза и в виде каприза...
Длинные диагональные призмы
жизненной смерти смирительной жизни.
Если ж ты жаждешь велосипеда,
Если ты хочешь пописать на воле,
прежде задумайся, все ли ты сделал,
чтобы в банане банан уместился
точно, впритык, чтобы не было странно,
чтобы банан оказался банананным?
То, что находится в месте банана
и что остается там вместо банана —
это нирвана, это осанна,
это стеклянная калька на пальме,
это прекрасное быстрое поле,
что существует внутри нашей воли.
Прихоть и перхоть похожи на кашель,
в этом модель построения каши,
или модель построения лени
в этот четверг или тот понедельник.

В геометрическом нашем сознании
саморождаются эти создання,
чем-то похожие на мирозданье,
напоминающее сознание...
Часто мы путаем Скляры с солярой,
Клерами, склерами или скаляром,
Плотницким метром и скипидаром,
Время в итоге потеряно даром.
Что же суть скляр? Слабый он или сильный?
Радиоактивный он или пассивный?
Там его нет, где мы есть, но он с нами,
парадоксально-ортодоксальный,
аэропортно-причально-вокзальный,
неуловимый безногий с ногами!
Власть, что они захватили над нами,
Полями, болотами и лесами
мы брали сами, и отдали сами...
Кто же мы сами? Уж так ли с усами?
Шмыгнем наставленными носами.
Вот что скажу я, друзья, между нами:
Вихри враждебные веют над нами,
полные каверз и непостоянства,
хрупкие скляры витают в пространстве.

Расхождение

Мучные пекари, седые — от порошка муки слепой,
мешки выхлопывали, поднимая сухие белые мучные облака,
вытряхивая накаленных зноем мышей подпольно хоронившихся
в убежищах углов мешочных, иногда
чихали, и не видели друг друга глазами воспаленно обрамленными
седыми перьями ресниц под столь же белыми бровями.
И из высокого горячего провала густого неба, словно из печи,
откуда достают буханки царапающего сухого хлеба,
обильно и напропалую шло тепло, сгущая воздух, жирный на просвет.
И только к вечеру прохладная Венера взошла в холодной манной мгле,
и я услышал странный звук,
как будто часто застучали тысячи тысяч игл,
и я увидел с высоты балкона: как серым, трепетным, неистовым ковром
бегут по мостовой все мыши мира, отталкиваясь в полной тишине
четечкой коготков от мостовой, а им навстречу
бегут все кошки Севера и Юга,
Востока, Запада, всех стран и континентов,
И, обомлев от ужаса, я ждал, когда волна с волной уже схлестнутся.
И два живых ковра сошлись, но как-то странно
они вошли друг в друга, продолжая свои движенья — каждые — свое,
они бежали в разных направленьях вслепую друг сквозь друга:
бежали мыши между лап у кошек,
бежали кошки, четко наступая в пространства между спинами мышей.

Прошло немало долгих, странных дней.
Животные бежали и бежали, не замечая, через что бегут,
пока и мыши, а потом и кошки не кончились внезапно и нелепо.
Потоки разлепились без потерь и разбежались, кажется, навечно.
Когда картина, словно наваждение, исчезла, я увидел снова:
Мучные пекари, седые — от порошка муки слепой,
мешки выхлопывали, поднимая сухие белые мучные облака,
вытряхивая накаленных зноем мышей, подпольно хоронившихся
в убежищах углов мешочных, иногда
чихали и не видели друг друга глазами воспаленно обрاملенными
седыми перьями ресниц под столь же белыми бровями.
Мне кажется, что так же разошлись
в глухой и солнечной провинции России
я, жизнь моя и жизнь страны.

Улыбка

Я думаю, что была меня мать
и оттого, что так меня любила
и ненавидела меня, и снова была,
потом любила и простить молила,
пока я вдруг не понял как-то сразу,
что я — это не я, и этот мальчик,
который бит, и обожаем люто,
и ненавидим нежно, только сон,
который почему-то снится маме,
которая никак не понимает,
что я живой и никому не снюсь.
Под эту мысль я липко засыпаю
и понимаю, все это не важно,
что следствие всегда родит причину,
а если не родит — удочерит.
Я вижу странную улыбку капитана,
сжимающего ручки у штурвала,
но, взглядываясь, в сумеречном свете
вдруг смутно понимаю, что ошибся,
что держит он не ручки у штурвала,
да, кстати, это вовсе не штурвал,
морская мина типа «вымя» это!
И держит он не ручки, а штыри,
и то, что я приглядываюсь больше,
усугубляет страшно шансы взрыва.
и я задумываюсь о его улыбке:
он улыбается, но потому, что знает,
или напротив, так как он не знает,
что у него в руках морская мина?
Она была там много тысяч лет...
И вдруг я понимаю: капитана
Улыбка, в сущности, и есть ответ.

Я вижу настоящий зрелый тополь,
когда я вспоминаю бывший тополь,
напрягшийся вкось под давлением ветра
и выпрямляющийся вверх обратно
вдали от центра около больницы.
Приехали туда мы с бывшим сыном,
доверившись автобусу шестому,
не представляя места на планете,
куда нас привезет шестой автобус.
Смотрели, как качаются деревья,
как люди ждут автобуса другого,
и многие лежали на газоне,
и все это могло бы мне присниться,
воспоминания, когда они приснятся,
впадают в грех конфабуляции,
чтобы узнать, что все деревья мира
качаются, как все деревья мира,
и тополя качаются, как пальмы,
раскачиваются пальмы, словно ели,
ель гнется и скрипит, как кипарис,
а кипарис качается секвойей,
секвойям в такт качается полынь,
смородина, подсолнух и ирисы.
Смородину я чувствую внизу,
на уровне гортани и глотка.
Но женскую фамилию — Смородина, —
я ощущаю около бровей.
А если просто, не вдаваясь в смысл,
таращиться на слово по-бараньи,
то голова закружится над бездной
и упадешь в прохладную сирень
прозрачных и голубоватых звезд,
летя по коридору между левым
и правым смыслом слов-загадок,
как между фазами чего-либо раскачивающегося,
когда все левое еще левеет слева
и не спешит успеть обратно вправо,
и, помирившись с левой стороною,
все правое правееет себе справа,
пространство разорвалось, как завеса,
и время, удивленное, стоит,
и валится вселенная смешная
в открытые врата недоумения.
Быть может, физик в будущем откроет
способность быть растерянным в пространстве,
и этот способ ноль-транспортировки,
столь ясный мне сейчас, как и неясный.
И этот физик будет чьим-то сыном,
и, может быть, он справится с задачей
любви к родителям вне плоскости прощенья.

Холод

Укутались чукчи в трехслойные шубы.
Все в чуме дрожат, хлипко шмыгая носом.
И шмыгая ж носом, как будто насосом,
Зубами от холода ищущи зубы,
На крышу взобрался медведь побелевший
От холода, впрочем, слегка посиневший.
В компании с чукчами мишка дрожит.
Но чукчи не знают, и им тяжелее,
Ведь думают чукчи, что чум их дрожит
От дрожи, которую производят
несчастные чукчи своими телами.
От этого холод им кажется жутче.
Медведь же, не знающий, что в чуме чукчи,
дрожит еще пуще, крупнее и жутче.
И все замерзают, как в фильме «Титаник».
И лишь потому, что сложение паник
Превысило меру реальных условий.
Так будем же помнить, твердя вновь и снова,
О силах, что спрятаны в сущности слова.

Предмет

Одинок перламутровый траур. Усталый и лунный,
Тротуар весь погиб и лежит здесь асфальтовым слябом,
Пустая бутылка блистает искательным светом зеленым,
Чехов пенсне обронил, и прошел по нему терминатор.
Гудок парохода вдали налетает и вдаль улетает,
Будто пчела, пробубнившая толстое что-то на ухо.
Луна излучает в пространства бледную электросилу
С неукоснительной четкостью робота-автомата.
На этой картине в подвально-кромешных глубинах
Слоем шпаклевки и краски упрятан Измайлов.
Сфинкс, полный тайны и гордый, как бюст Комарова,
Чокнутый, будто сгоревшая электропробка,
Я весь на лодочке сквозь камыши пробираюсь,
Синий блеск мыслей больного болвана читаю
На оловянном таинственном лунном блике
Мягко овального склона волны дивно тонкой,
Пущенной вдаль по пруду одиноко и странно
Неким глухим рыбаком по ту сторону смысла,
Как посылают жонглеры другому жонглеру
Тихо последнюю, медленную булаву.
Из темноты, уплотненной прохладно и странно,
Черный снаружи, внутренне голубоватый
Тихий предмет ко мне на ладонь прилетает,

Камень пустой, но наполненный фосфорным светом,
Видимо, умершим чьим-то сознанием жизни,
Я бы теперь мог присвоить чужое, нажиться,
Но неудобно оно, как-то странно, и страшно, и странно,
Вижу я стрелку на камне и вдруг понимаю,
Что в направлении стрелки магический ключик,
Истинный в первый момент прикосания только.
Если же я не вертел бы его как попало,
То направление стрелки бы не пропало,
Но я вертел его — значит, что и направленьё
Я перепутал, запутал и перенаправил,
Что же теперь эта стрелка — лишь глупая метка,
И ничего не укажет она мне, ну разве
Что указал я сам, сам же того не желая,
И никогда уже правды святой не узнаю,
Лишь потому, что я сам изменил направленьё.
Что же ты хочешь понять в моих выпренных виршах,
Юнош лохматый, премудрый, в очках минус десять?
Ты здесь утонешь в болоте трясины сомнений.
Ты здесь поймешь, на погибель твоих самомнений,
Только себя, только сумрачный собственный гений.

Метафора

Подняв бесстыжий перископ у скал прибрежных,
окутанных слюной беззубых волн, бушующих, как кружевные юбки
больных шизофренией дам, дающих
нелепо скучный в сумасшедшем доме бал,
мы видели недалеко от юрт — киргизов,
и знали, старшего зовут Моэн Аун, что в переводе означает «деспот»,
пристыживающий как и бесстыдный,
в одном лишь постоянный: в нарушенье
своих же правил и постановлений,
неукоснительный лишь в требованиях славы,
почета, денег для себя и рабства
в крючок загнутых кротких подчиненных.
Из полумесяцев своих худых пиал в коричневом наросте из микробов
они отхлебывали дым, туман, кумыс, установив пиалы на распялках
мозолистых и узловатых пальцев, как устанавливают чаши телескопов
монтажники в мужском ажуре цепких и треугольных стали сопряженьях.
Сокрывшись в интроспекции от мира,
мы дистанцировались от литературы к литературоведению, в нем
найдя причину звезд и розы мира. Великую и тайную доктрину
мы поняли нутром, как понимает состав родной крови родная печень,
галактика жива и разворачивается
со скрипом ворота и с воровским волнением,
и разворачивается, и разворачивается,
как выкорчевывае-е-мый пенёк разворачивается,

и на каком-то выспреннем витке ее метафорической развертки она свивает тонкий шнур бикфордов модельной и хрустальной ДНК, и возникает жизнь, закон, история, кишащий Интернет и трепотня, политика, Москва, Богданов Гена и у меня метафора меня.

Взлетающее падение

Бризантный вектор вбитого гвоздя
в швы сундука пирата Тарантино,
и трогательность женского признанья,
как гроздя ожерелий из топазов
(ликующе рыдающих от слез
слепяще скользких бликов солнца),
доставшиеся мне ни за про что,
открыли мне глаза на точку зрения,
где я в каюте с маленьким окном,
почти под самым-самым потолком,
и сквозь него мне видно только воду,
где волны ходят, как коленвалы,
и море мягкое, как гневное письмо
(расправленное, впрочем, для прочтения,
для изучения внутренних увечий,
распредвалов рефлексов и инстинктов).
Поверхность одинаково уныла,
как наблюдение за медленно текущими
райскими кущами и людскими массаами,
во времена, когда давали имя
созвездьям Лиры, Льва и Гончих Псов.
Все это помогает вспомнить мне,
как складки шелкают дождевика,
как хлопают камлотовые складки,
расправленные страшно метким ветром,
распавшийся на складки липкий флаг,
вдруг вытянутый резким, хлестким ветром
в нечеловеческую штормовую ночь,
брезент натянутого полога палатки,
а также заставляет знать меня
и знать о падающих в снах камнях,
(в голубоватых сумерках Венеры,
свободно, грозно, как одна умеет
летать Вселенная, беззвучная и злая),
летающих вниз со скального обрыва,
неисполняющихся и необещающих,
непадающих и не прекращающих
свое падение и взлет одновременно.

